

Анатолий Михайлов

**«МИР НАХОДИТСЯ НА ПОРОГЕ ВЫЗОВОВ,
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ У НАС ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕТ ОТВЕТОВ»**

Интервью с Президентом ЕГУ академиком А.А. Михайловым

Anatoly Mikhailov

«The world is on the threshold of challenges, in relation to which we still do not have answers»

Interview of the President of EHU Acad. A. Mikhailov

Interviewed and prepared for publication by Victor Martinovich

Anatoly Mikhailov, the founder and long-time rector of EHU, addresses the lessons of the history of the University and its prospects. The author takes special notice of the problems of contemporary knowledge in humanities and social sciences and ways of its study by students. Education in humanities and social sciences is in a deep crisis, and in order to overcome it we must look for new forms of its development that would take into account the tragic experience of the search for and realization of supposedly objective social truths in the last centuries. What should the language of humanities and social sciences be in a world dominated by technology and growing digitalization? Perhaps the answer to this question can be the reference to the great works of literature and art in the educational process.

– Четверть века – большой отрезок времени даже в масштабах истории. Платоновская Академия жила (до закрытия Юстинианом) всего только в шесть раз дольше. Общество филоматов при Вильнюсском университете просуществовало в четыре раза меньше. Вы не могли бы сформулировать главные итоги 25 лет? Что удалось сделать? Что останется и запомнится из сделанного на этом этапе?

– 25 лет нашего существования – это, конечно, достаточный повод для подведения определенных итогов. Действительно, многое в истории происходило и за более короткие промежутки времени. Однако этот срок отнюдь не кажется длительным по отношению к проекту, поставившему перед собой крайне амбициозную задачу преодоления нашей изоляции в сфере гуманитарного знания. Традиция существования европейских университетов исчисляется столетиями, и, тем не менее, даже там в последнее время все чаще раздаются голоса, в которых звучит тревога по поводу нынешнего состояния образования. Разумеется, речь идет, прежде всего, о положении дел в сфере социальных и гуманитарных дисциплин.

Но если вспомнить трудности, с которыми ЕГУ столкнулся буквально с первых дней, а также проблемы, постоянно сопутствовавшие нашему проекту, кульминацией которых стало закрытие университета, то уже сам факт нашего существования спустя 25 лет может быть расценен как достижение. Хотелось бы при этом отметить, что летом 2004-го возможность нашего возрождения в новом качестве казалась совершенной утопией. И, тем не менее, ЕГУ сумел воссоздаться в новых условиях.

Современный мир во все большей мере сталкивается с вызовами, по отношению к которым наше представление о способах осмысления самих себя, а также насущных проблем обустройства нашей жизни обнаруживает свою несостоятельность. Вместе с тем именно в этом заключается суть гуманитарного знания. Ситуация, впрочем, не так уж отличается от того, что происходило и в прошлом, XX столетии, которое побудило к радикальному переосмыслению всего наследия европейской интеллектуальной традиции. Эти перемены, затронувшие все сферы гуманитарного знания, были вызваны к жизни трагическим опытом социальных потрясений, оказавшихся неожиданными для излишне оптимистично настроенных предыдущих столетий. Мы хорошо помним, однако, что встреча XXI века, совпавшая с наступлением третьего тысячелетия, вновь способствовала возрождению иллюзий по поводу того, что мир наконец-то окажется в состоянии извлечь должные уроки из своего трагического прошлого. Этому в значительной мере способствовало окончание холодной войны, которое пробудило надежду на то, что с наследием тоталитаризма покончено и современная цивилизация вступает в новый этап своего развития. Мы вынуждены признать, что в очередной раз эти ожидания, пусть даже и психологически оправданные, обнаружили свою несостоятельность и мир находится на пороге вызовов, по отношению к которым у нас по-прежнему нет ответов.

В основе создания ЕГУ лежала идея критического отношения к нашему собственному интеллектуальному состоянию, и ожидать, что преодоление этого состояния можно осуществить в режиме приобщения к существующему в готовом виде знанию, было бы глубоким заблуждением. Такого знания нет и быть не может, оно должно быть в каждом конкретном случае переосмыслено сооб-

разно «фактичности» (Хайдеггер) – той ситуации, с которой мы с неизбежностью сталкиваемся в нашей жизни.

– Со времен Библии Франциска Скорины все стоящее на этой земле отмечалось печатью несвоевременности. Оглядываясь назад, нет ли ощущения, что ЕГУ начался не в самое подходящее для этого время? И можно ли было в принципе дожидаться «оптимального» для старта проекта момента? Наступит ли он когда-нибудь в случае с Беларусью?

– Необходимо признать, что далеко не всем идея создания такого гуманитарного университета, который был ориентирован на осмысление европейской традиции, казалась своевременной, поскольку в тогдашней атмосфере энтузиазма и неоправданной эйфории многим казалось, что основные проблемы уже позади и необходимо приступить к реформированию общества с использованием имеющегося интеллектуального потенциала. В этом плане проект ЕГУ многим казался «несовременным», и только сейчас постепенно, с большим опозданием, приходит прозрение, что проблема образования, особенно в сфере гуманитарных дисциплин, является ключевой для самоопределения и даже выживания нации. И дело не просто в умножении количества образовательных учреждений и переименовании прежних структур в университеты и академии, что, как мы знаем, происходило на протяжении многих лет не только в Беларуси. Необходимо переосмыслить саму суть современного университетского образования, которое переживает глубокий кризис и не отвечает вызовам современного глобального общества. Речь идет, разумеется, об образовании и исследованиях в сфере социальных и гуманитарных дисциплин. Мысль, которая когда-то была с предельной четкостью сформулирована Х. Арндт – «thought and reality have parted company» – звучит отнюдь не менее актуально и в наши дни. В связи с этим возникает вопрос: можем ли мы и впредь быть уверенными в том, что состояние мышления, которое формировало себя в европейской интеллектуальной традиции на протяжении столетий и которое было признано ведущими мыслителями прошлого века в качестве разительно не соответствующего реальности нашего существования, выступать в качестве основания для современного образования? И если это положение дел признается там, где традиции университетского образования восходят к эпохе Средневековья и существующий интеллектуальный потенциал накапливался в процессе интенсивного взаимодействия различных культур на протяжении столетий, то что делать нам? Ждать «подходящего» времени? На чем покоится уверенность в том, что оно неизбежно наступит без наших усилий? Нам следует наконец-то расстаться с наивными иллюзиями по поводу неизбежности изменения положения дел к лучшему. Я далек от переоценки значимости нашего весьма камерного по своим масштабам проекта. Но думаю, что нельзя было не воспользоваться достаточно уникальной возможностью. В противном случае ждать пришлось бы неопределенно долго. Вспомним в этой связи притчу Ф. Кафки «У врат Закона»!

– В 2000 году один молодой докторант белорусского государственного вуза сказал мне, что основная функция системы высшего образования состоит не в предоставлении знаний, но – в «воспитании гражданина». И что поэтому все допускаемые к этой системе должны соблюдать определенные конвенции, в т.ч. касающиеся встраиваемой в образование государственной идеологии. И что так происходит не только в Беларуси, но и «вообще везде». Разговор, повторюсь, имел место не в 1951-м и не в 1989-м. У меня есть впечатление, что примерно та же картина осталась сейчас и будет видна еще через десять лет. В связи с этим вопрос: в каких отношениях состоят знания и свобода?

– Мне кажется, что мы неизбежным образом находимся в плену языковых клише, посредством которых обозначаются весьма неопределенные и размытые смыслы. Вы ссылаетесь лишь на одно из них, упоминая изрядно дискредитированное понятие «воспитания». Коннотации, которые вызывает это понятие в постсоветской реальности, являются, разумеется, достаточно определенными. Но разве в этом повинно само понятие?

Человек как существо, генетически не в должной степени оснащенное для своего существования в мире, а также взаимодействия с Другими в обществе, действительно нуждается в том, что может быть обозначено как «воспитание». Беда заключается в том, что мы все больше утрачиваем понимание того, каким образом это делать в сфере образования.

Даже Кант – мыслитель, свято веривший в идеалы эпохи Просвещения, признавал, что «в человеческой природе есть некоторая порочность». Именно в эту эпоху формируется убежденность в том, что посредством образования, понимаемого как *Bildung*, можно добиться формирования в человеке необходимых «человеческих» качеств. На деле, однако, оказалось, что слишком часто эти упования оставались абстрактными пожеланиями, одним из типичных примеров которых является «категорический императив» того же Канта. Но уже Гегель был вынужден признать, что «просвещение рассудка делает человека умнее, но не делает его лучше». Рассудок, по его мнению, «слишком изворотлив и слишком холоден, чтобы быть действенным в момент совершения поступка... он умеет разыскать основания для оправдания любой страсти, для всякой затеи, он является преимущественно слугой себялюбия, всегда очень проникательного в стремлении придать красивую окраску совершенным или будущим ошибкам и часто восхваляющего самого себя за то, что оно нашло для себя такую хорошую отговорку» (Гегель, Г.-Ф. Работы разных лет. Т. 1. С. 58). Что уж говорить о нашем времени, которому, с одной стороны, приходится расставаться с чрезмерным оптимизмом эпохи Просвещения, а с другой стороны, вынужденному признать, что утрачивается само понимание того, каким образом осуществляется воспитание в процессе образования.

Кстати, известная статья Х. Арендт в сборнике ее работ «Between Past and Future» – «The Crisis in Education» в авторизованном немецком переводе звучит как «Die Krisis in der Erziehung». По-видимому, даже напрашивающееся для перевода немецкое понятие *Bildung* показалось для Арендт не вполне достаточным для того, чтобы заменить английский термин *education*, хотя это понятие в сущности большей мере акцентирует наше внимание не на трансляции знания как такового, но на *формировании* человека. В ее памяти, по-видимому, должен был сохраниться шок от всего того, что произошло с ее нацией, отнюдь не отличающейся недостатком образованности. Как отмечал в свое время Ницше, «человек, если уж он опустил, всегда опускается ниже животного». По существу, речь идет о возрождении античного понятия *paideia*, предполагающего содействие социализации человека. Это означает, что подлинное образование должно способствовать *трансформации* человека. На это неоднократно обращал внимание, в частности, Х.-Г. Гадамер в своих работах. И разве не об этом же идет речь в одной из книг П. Слотердайка, для названия которой он избрал строки из стихотворения Райнера Мариа Рильке «Du mußt dein Leben ändern»?

Таким образом, было бы неоправданным избегать использования самого понятия «воспитание гражданина», хотя, разумеется, мы знаем, в каких извращенных формах это «воспитание» может происходить. Вместе с тем необходимо отдавать себе отчет в том, что образование, понимаемое как трансляция абстрактного знания, не соотносимого с насущными проблемами человеческого бытия, есть не что иное, как специфическая форма индоктринации, которая выступает от имени науки и прикрывается ее авторитетом. Никакого отношения к образованию такая практика не имеет. По-видимому, в этом случае мы сталкиваемся с опасностью того, о чем когда-то предупреждал Кант, когда отмечал, что любой, даже тупой и ограниченный, ум может при помощи обучения достигнуть учености. Как мне кажется, такая опасность угрожает нам в настоящее время в существенно большей степени, чем во времена эпохи Просвещения.

Особая ответственность в решении этой проблемы лежит на гуманитарном образовании, которое, к большому сожалению, слишком часто сводится к преподаванию разрозненных дисциплин, не соотносимых друг с другом и не способствующих настоящей потребности осмысления целостности нашего бытия в мире.

Вопрос о том, каковы отношения между знанием и свободой, является действительно ключевым в этом контексте. Нам следует отдавать себе отчет в том, что знание в его многообразных формах может быть и фактором, стесняющим свободу, излишним образом регламентирующим наше отношение к миру.

В связи с этим известное, на первый взгляд излишне эпатажное высказывание Хайдеггера – «die Wissenschaft denkt nicht» имеет более глубокий смысл, чем это может показаться на первый взгляд. Присутствующие в человеке творческие потенциалы рискуют в этом случае оказаться в плену навязанного сознанию

содержания знания, которое способно подавлять нашу свободу. Мы сталкиваемся в этом случае с «тиранией науки» (П. Фейерабенд), которая существенным образом посягает на характер решения «метафизических» проблем, иными словами, того «знания», посредством которого мы постигаем самих себя и свое собственное предназначение в этом мире. На это, в частности, обращал внимание в свое время М. Гершензон в известной переписке с В. Ивановым: «Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. Это знание не я добыл в живом опыте; оно общее и чужое, от пращуров и предков; оно соблазном доказательности проникло в мой ум и наполнило его. И потому, что оно общее, сверхлично-доказанное, его бесспорность леденит мою душу. Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? Огромное большинство их мне вовсе не нужно. В любви и страдании мне их не надо, не ими я в роковых ошибках и нечаянных достижениях медленно постигаю мое назначение, и в смертный час я конечно не вспомню о них. Но, как мусор, они засоряют мой ум, они тут во всякий миг моей жизни и пыльной завесой стоят между мною и моей радостью, моей болью, каждым моим помыслом. От этого несметного безличного знания, от усвоенных памятью бесчисленных умозрений, истин, гипотез, правил мышления и нравственных законов, от всего этого груза накопленных умственных богатств, которыми каждый из нас нагружен, – то изнеможение, которое снедает нас» (В. Иванов, М. Гершензон. Переписка из двух углов. Петербург, 1921. С. 16).

– Верно ли наблюдение, что за годы своего существования ЕГУ прошел несколько этапов развития, делаясь то в большей, то в меньшей степени заинтересованным в экономике, европейской интеграции, теологии или философии? Вы не могли бы ретроспективно выделить эти этапы?

– Понадобится определенное время для того, чтобы осмыслить все этапы развития нашего проекта. Мы никогда не ставили перед собой задачи охватить весь спектр социально-гуманитарного знания. Но мы были достаточно уникальны в том, что в нашем университете особое внимание было уделено философии и теологии. И речь шла не просто об изучении «дисциплин» как таковых. Что касается философии, то на протяжении длительного времени европейской интеллектуальной традиции она воспринималась в качестве способа осмысления человеком своей собственной жизни в ее целостности. Это лишь существенно позднее она все чаще превращалась в «профессорскую философию профессоров философии» (А. Шопенгауэр) и в результате этого пришла к такому своему состоянию, когда большинство философских школ стали обозначаться как «эпигонские» (Х. Арендт). Но не подлежит сомнению, что в философии, которая вообще представляет собой сугубо европейский феномен, аккумулированы фундаментальные ценности своеобразия европейской традиции. Речь идет лишь о том, что в процессе интерпретации этой традиции нам необходимо

выделить в ней то, что является действительно актуальным для осмысления нынешней реальности.

Что же касается теологии, то, опять-таки, для нас в то время речь шла не просто о теоретической дисциплине, которая традиционно существует в европейских университетах. Нет нужды лишней раз говорить о том, что на протяжении более чем двух тысячелетий европейское сознание, даже в его «атеистических» формах, испытывает на себе воздействие христианского наследия. Сейчас уже немногим известно, что в ЕГУ была впервые предпринята попытка создания в традиции православия теологического факультета в университете. Причем этот факультет с самого начала обозначил свою открытость к межконфессиональному диалогу с другими конфессиями христианства. И диалог действительно происходил в достаточно интенсивных формах.

Иными словами, уже две эти программы нашего университета делали его достаточно уникальным проектом по сравнению с другими многочисленными, вновь образованными или переименованными в университеты или академии структурами высшего образования. Вне осмысления фундаментальных принципов, лежащих в основании европейской культуры и тех радикальных трансформаций, которые в них происходили с особой интенсивностью с начала XX столетия, любые усилия по обретению столь необходимого профессионализма в сфере социального и гуманитарного знания были обречены.

– ЕГУ возник годом позже Центрального европейского университета в Будапеште и двумя годами раньше Европейского университета в Санкт-Петербурге. При взгляде извне есть ощущение, что за этими тремя университетами стояла одна и та же надежда. Надежда на стабильные изменения к лучшему, инструментом которого станет знание. Как Вам кажется, смогло ли знание обеспечить перемены? И какие?

– Действительно, эти университеты возникли приблизительно в одно и то же время. Само их возникновение означало понимание насущной потребности того, что по отношению к новым вызовам, с которыми столкнулось общество, утратившее свою прежнюю систему координат, необходимо обретение новых смысловых горизонтов. Надежда, разумеется, всегда присутствует в человеке и обществе, если не иметь в виду предельные кризисные экзистенциальные состояния. Однако глубинная вера (*belief*) в магическую силу знания, способного преобразовать окружающий мир в соответствии с потребностями человека, зачастую уподобляется почти религиозной по своему характеру вере (*faith*) в то, что посредством трансляции имеющегося в нашем распоряжении знания мы можем достигать поставленных целей. Так, в немецком языке уже само понятие «сознание» (*Bewußtsein*) предполагает в человеке потенциальную способность исчерпывающего истолкования бытия (*Sein*). Только в XX веке постепенно пришли к осознанию того, что эта убежденность покоится на произвольном постулате. В рамках обращения к «жизни», «экзистенции», «жизненному миру»,

«Dasein» приходит понимание того, что *онтологические* основания нашего существования не артикулируются нашим знанием в полной мере. Тем более если речь идет о «знании», по-прежнему ориентирующемся на идеалы и нормы естествознания. Как известно, особенно с конца XIX века под такое понимание «знания» была заложена мина замедленного действия. Мы живем в настоящее время, когда эта мина, усилиями многих выдающихся мыслителей XX столетия (при этом далеко не только усилиями представителей философии) уже взорвалась, хотя мы все еще предпочитаем этого не замечать. В этой ситуации возникает вопрос: *каким* содержанием должно быть наполнено университетское образование? Мы по-прежнему будем поклоняться тому, что столь убедительным образом обнаружило свою безжизненность и несостоятельность? О какой надежде на желанные перемены в обществе может идти речь в этом случае?

– Скажите, а что все-таки произошло в 2004 году? В случае с Беларусью иногда требуется время, чтобы понять истинные причины той или иной драмы. И еще вопрос: почему это произошло только в 2004-м, а не в 1996-м или 1999-м?

– Очень не хотелось бы, пусть даже мысленно, вновь пережить события 2004 года. Они действительно оказались драматическими для нашего университета. Почему это не произошло несколько раньше? Трудно сказать. Наверно, в 1996 году это произойти еще не могло по многим причинам. Мы все еще находились на этапе создания нашего проекта. Но уже к 1999 году над ЕГУ постепенно сгустились тучи, хотя и до того времени мы постоянно сталкивались с трудностями. У меня сохранилось мое письмо к бывшему послу США в Беларуси Дэвиду Суорцу, который совершил безусловно неординарный шаг – он ушел в отставку в знак протеста против неэффективности политики США в отношении Беларуси. Будучи искренним другом нашего проекта с самого начала, в своей статье в «Washington Times» от 5 июня 1997 года он обвинил правительство США в том, что оно оказалось неспособным поддержать «лучший в бывшем Советском Союзе приватный университет», и затем основал в США фонд поддержки ЕГУ. В моих архивах сохранилась копия моего заявления об отставке с должности ректора, помеченного июлем 2001 года, когда я ощутил непосильность борьбы за сохранение проекта, осознав, что был слишком наивен, позволив себе оказаться в него вовлеченным. В этом заявлении я от руки сделал приписку, объясняя свое решение Д. Суорцу: «Дорогой Дэвид, это заявление будет отправлено 26 июля. Я не хотел бы это делать, не уведомив предварительно Вас. Уверен, что Вы понимаете суть дела. Как я устал!»

Я впервые предаю гласности эту информацию. Но она является лишь каплей в море тех проблем, с которыми постоянно приходилось сталкиваться за время нашего существования в Минске. Дальнейшее всем известно, и мне не хотелось бы к этому возвращаться вновь.

– Во времена Просвещения в Европе (опять) возникла мысль о том, что миром правят философы. Что философы формализуют идеи, впоследствии используемые самодержцами для управления государствами. За последние десять лет времена резко изменились, и на первый план как будто бы вышли математики. Язык философии и гуманитарных наук, «язык идей», вытесняется словарем алгоритмов и цифровых последовательностей уже даже и в политическом дискурсе. Есть ли у Вас это же ощущение и, если есть, что это может означать для гуманитарных дисциплин?

– Канули в прошлое те времена, когда философы обладали практически неограниченным кредитом доверия общественного сознания. Они воспринимались в качестве носителей «мудрости», обладателей «метода» или способных «формировать мировоззрение».

Положение дел радикально изменилось уже к началу XX столетия. Для многих философия перестала быть делом жизни и превратилась в «профессию». Но, как отмечал Ортега-и-Гассет, «профессиональный философ изучает и преподаёт шаблонные доктрины... Профессор философии может вообще не быть философом: он преподаёт философию для того, чтобы заработать себе на жизнь или получить общественное признание» (Jose Ortega Y Gasset. *Concord and Liberty*. New York: Norton Library, 1963. P.108).

Именно поэтому XX век был веком крайне радикальных усилий, направленных на возвращение философии ей некогда присущих смыслонадеждающих функций. Эти усилия были реализованы в рамках «философии жизни», феноменологии Э. Гуссерля, а позднее фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. В этой связи достаточно вспомнить оценку состояния дел в немецкой философии Гуссерлем в начале XX века. В одном из писем своему коллеге Генриху Риккертю в 1910 году он пишет о том, что «его охватывает ужас от публикаций в немецких философских журналах». Не будем забывать, что речь идет о немецкой философии, традиционно воспринимаемой в качестве наделенной едва ли не однозначным авторитетом!

Если философия воспринимается таким образом, то в этом повинна, прежде всего, она сама и те, кто выступает от ее имени. Быть может, поэтому поздний Хайдеггер, даже после предпринятых усилий по трансформации философии, предпочитает не причислять себя более к философии, как, впрочем, и следовавшая по его стопам Х. Арендт. В этом контексте все чаще возникают критические побуждения, адресованные философии, к осознанию ее роли и степени ответственности за сложившееся положение дел в обществе. Так, в разгар Второй мировой войны, в 1942 году, Ортега-и-Гассет пишет: «Целая книга может быть написана на тему: Об ответственности и безответственности философии» (Ortega y Gasset. *Ibid*. P. 106). Не странно ли, что такой вопрос поднимается в тот момент, когда, казалось бы, речь должна идти о других, более насущных проблемах? А ныне живущий философ Джанни Ваттимо не менее радикален в своей

книге «Ответственность философа»: «Иногда я задаю себе вопрос: не являюсь ли я паразитом, и это не просто ироническая поза, мне приходит в голову вопрос “Как долго еще правительство будет платить зарплату профессорам философии?”» (Vattimo, Gianni. *The Responsibility of the Philosopher*. Columbia University Press, 2010. P. 114).

Таким образом, «философам» уже не до управления государством, их престиж в обществе упал до катастрофически низкого уровня. Расширение сферы использования «языка алгоритмов», «цифровых технологий», «дигитализации» и пр., несомненно, свидетельствует об этом беспомощном состоянии современной философии и утрате статуса «метафизической проблематики», обращенной к осмыслению целостности человеческого существования и не выражаемой исчерпывающим образом формализованным языком знаков.

Вытеснение языка гуманитарного знания, некогда обладавшего витальной силой воздействия на воспринимающее сознание, «языком алгоритмов» является однозначно пагубным для гуманитарных дисциплин. Мы утрачиваем в итоге способность найти средства артикуляции метафизической проблематики, сама природа которой вообще не подлежит выражению фиксированным языком. Это было известно уже Канту, который отмечал: «Объект математики легок и прост, объект философии, напротив, труден и сложен». Он добавляет при этом: «Метафизика, несомненно, есть самое трудное из всех человеческих познаний» (Кант, И. *Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали*. Соч. в шести томах. М., 1964. Т. 2. С. 253, 254).

– Наблюдая за тем, как топовые управленцы в Беларуси и соседних постсоветских странах играют в хоккей или футбол, увлекаются дзюдо и другими видами единоборств, я не могу не вспомнить об образах правителей, нарисованных мировой классикой XX века (в частности, Маркесом): интеллектуалах, обсуждающих книги и играющих в шахматы. Нет ли ощущения, что знание и ум на постсоветском пространстве изначально куда менее востребованы, чем, скажем, в Германии? И основной стратегией решения вопросов является сила? Что интеллект может противопоставить силе? И может ли что-нибудь?

– Едва ли можно отказывать человеку, в том числе и тому, кто занимает государственные посты, в праве увлекаться спортом. Сам по себе спорт и содержащееся в нем игровое начало всегда являлись важным элементом человеческого поведения. Но мы живем в такое время, когда очень многое, некогда имевшее вполне приемлемые формы во время своего возникновения, приобретает искаженные и даже уродливые формы. Все мы видим, какие последствия это имеет для профессионального спорта. А разве нынешнее состояние церковной жизни соответствует духу раннего христианства? Думаю, что и однозначное позиционирование «интеллектуалов» как некой привилегированной касты также чревато серьезными последствиями. Да, мы являемся свидетелями

утраты престижа интеллектуального труда и его представителей на постсоветском пространстве и далеко за его пределами. По-видимому, в других обществах (и не только в Германии) это все еще выглядит несколько иначе. Но, с другой стороны, сами представители «интеллектуального труда» слишком часто вносят свою лепту в существующее положение дел, которое вызывает ироническое отношение к тем, кто обозначает себя в качестве «интеллектуалов». Достаточно вспомнить в связи с этим книгу Раймона Арона «L'Opium des intellectuels». Речь идет о бесосновательной претензии «интеллектуалов» на обладание привилегированной позицией по отношению к оценке всего происходящего в обществе. Уже упоминавшаяся Х. Арндт резюмирует ситуацию в достаточно резкой форме – «intellectuals are no less corrupt than anybody else».

– Как писатель я не могу не спросить вот о чем: ЕГУ в настоящее время как будто оставляет за скобками интерес к художественной литературе, предполагая, что студенты прочитают все значимое сами. Диплом можно получить, ни разу не открыв Сервантеса, не зная, кто такие Гёте или Борхес (с такими бакалаврами выпускных курсов я иногда сталкиваюсь). Связан ли этот выбор с предположением о том, что литература умирает? Верите ли Вы в тезис о том, что во второй половине нашего столетия она окончательно уйдет из школ и программ университетов? И какие механизмы передачи опыта человек найдет вместо нее?

– Как мне кажется, вопрос является ключевым, и он касается не только гуманитарного образования, но и образования как такового. Мы действительно пытаемся, не без труда, обратиться к искусству и литературе как способу осмысления реальности, в которой мы находимся. И речь идет не просто о пополнении эрудиции, обретаемой при ознакомлении с произведением искусства или чтении тех или иных авторов литературных произведений. Само понимание сути образования обнаруживает свою несостоятельность, если оно опирается на уверенность в том, что его содержание выражается исключительно языком теории. В этом случае мы имеем дело с установившейся традицией недоверия к чувственному опыту, восходящей к платонизму, и в дальнейшем закрепленной всей эволюцией европейского сознания. На поздних этапах этой эволюции, например у Канта, как-будто бы отдается должное чувственному опыту, поскольку Кант признает, что наше познание неизбежным образом начинается с опыта. Однако, по его убеждению, это познание не предопределяется опытом. Заключительные строки «Введения» к «Критике чистого разума» по существу обесценивают чувственный опыт, которому отказывается в том, что он может иметь познавательную ценность. Это касается искусства в целом, в том числе литературы и поэзии. Известный гегелевский тезис о «конце искусства» отнюдь не является свидетельством отсутствия у немецкого мыслителя эстетического вкуса. Он просто подводит итог эволюции европейского сознания, которое, по его мнению, достигает наивысшей формы своего развития в теоретическом знании.

Искусство проделало свою работу и его время ушло, оно должно уступить место теории. И если мы по-прежнему к нему обращаемся, то, преимущественно, через призму *литературоведения* и *искусствознания*.

Разительным контрастом по отношению к этой радикальной рационализации нашего мышления и понимания знания как выражаемого посредством теории является все происходившее на протяжении XX столетия. Мы сталкиваемся с возрождением не просто внимания к феномену искусства, но и пониманием того, что именно посредством художественного творчества человек постигает себя и мир более глубоко, чем средствами теории, которая к тому же так и не сумела освободиться от бремени «абстрактной понятийности». Кстати, одним из тех, кто способствовал этому прозрению, является тот же Кант, который на позднем этапе своего творчества, в своей последней «Критике» («самом загадочном из своих произведений», Д. Крелл) обнаружил границы возможности распространения всеобщих понятий применительно к конкретному случаю. И если Кант приходит к этому достаточно неожиданному даже для самого себя выводу при осмыслении природы суждения вкуса, имеющего дело с возвышенным и прекрасным, то Х. Арндт делает из этого нестандартный вывод о возможности трансформации политической теории, опираясь на идеи «Критики способности суждения». Вопрос о том, останется ли литература в программах школ и университетов, является ключевым отнюдь не в плане сохранения ее как «дисциплины» или «предмета» для изучения. Беда в том, что сам способ нашего осмысления того, к чему обращались бессмертные произведения Софокла, Сервантеса, Свифта, Гёте, Ван Гога, Сезанна, Клее и многих других, не соответствует пониманию того, каким образом эти выдающиеся представители традиции находили возможность выразить жизненный опыт средствами, обладающими существенно большей степенью воздействия на наше сознание, чем это делает теория.

Интервью провел и подготовил к печати Виктор Мартинович